

Случались ли с вами происшествия совершенно необыкновенного порядка, когда внезапное, неизвестное чем вызванное волнение захватывало бы вас полностью, проливалось бы за край, и вы бы не ощущали ни брэнной тяжести, ни возраста, ни принадлежности чему-либо? Минуты единения с Богом. Уходящий в высь пламенный столб мироздания. Что-то позвало вас, и вы подчинились: вышли на крыльцо дощатого домика где-то на берегу Дальнего Кабана, и со всех сторон вас охватил бесшумно падающий снег. Крупные, мягкие хлопья, холода лицо, соединили с небом. Разум очистился, душа воспрянула, чуткий слух воспринимает и малый шорох. Движение, перемещение, слияние — повсюду. И — покой, свет изнутри, подступающий к горлу, влажный, ясный. Земной непрехотливый быт в одно мгновение отодвинулся, канул в темноту. Чистота свежего звука. Только снег и гулкая раковина мира. Вас колеблет, как былинку: высота притягивает, воздух жизни пронизывает клубящимся теплом... Случалось ли с вами подобное? Ты — здесь, но ты — и там, за далью снега. Расстояний нет, есть всепоглощающее присутствие везде.

И зимой, и летом.

Тучка, приостановившая свой бег на короткий миг, чтобы пролиться дождём, кажется мне потемневшим облаком Нового Сеитова, — а дождь сыплется на Казань, устилает блеском горбы крыш, расхлопывает зонтики.

И солнце, раздвигающее длинными лучами тяжёлую хмарь над городскими стенами, воспринимается мной как новосеитовское светило.

Если бы казанское радио возвестило вдруг: «Говорит столица нашей республики — Новое Сеитово!», я бы не удивился, я бы задохнулся от невероятности, множество искрящихся проводков подсоединилось бы ко мне...

Единственная столица для тебя — место, откуда берёт начало твой род. Вечно пульсирующая мышца сердца. Купол неба, перепоясанный радугой.

Земля родины дарована мне Богом, отнять её — хитростью, вероломством, посулами нищему — ни у кого нет права, кроме разве самого Всевышнего. Отеческий порог не перенесёшь в новое жилище.

В памяти моей мать никогда не будет покойной.

Вот мы идём с ней за сеном, волоча тележку. Высвобождаем лезвия кос. Запах срезанной травы. Мы доходим до межи. Мать говорит: «Погоди!» А я чуть не подкопил соловьиное гнездо. Так и зависла коса, остановив звон. Гнездо на слабых ветвях осокоря подрагивало от предчувствия конца.

Это символично. Это — не соринка, задержанная памятью по недоразумению.

Тупые косы побуйствовали под Казанью, и никакое: «Погоди!» их не остановило бы. Сколько сметённых соловьиных гнёзд! Но коса времени, всемогущая, невидимо

карающая, подкашивает и самих зарвавшихся косцов, подрезает, уже не милуя. Уж кому-кому, а ей-то не скажешь: «Погоди! Я одумался».

Глядя на священные угодья под Казанью, я думаю о судьбе родника Корголды Нового Сеитова. Я любил наблюдать колыхание осенних листьев, опустившихся на приглушённое дно родника. Они не потускнели, не покоробились по краям. Такого чуть пригашённого разноцвета не увидишь, пожалуй, и на яркой только-только опрокинувшейся послегрозовой радуге.

Истомный, густой запах земли, принятый водой, пробивает и ряску, вбирает в себя и её аромат. Душистое облачко висит над родником Корголды.

За год до смерти отца мы пасли с ним стадо неподалёку от родника. И я вдруг, именно вдруг, увидел, как чистое место заболотилось, прикрылось сочной травой осоки, поморщилось в зажатости, взбухло гнилью. Отец мой — деревенский мулла — сказал, приметив моё замешательство:

— Вот так оно, сынок, вот так оно...

Конечно, отец знал мои стихи о Корголды. Но в этот раз произошло неожиданное, немало озадачившее меня. И я написал о том событии, нисколько не приукрасив его, потому что отец любил правдивые слова.

... Кто бы мог подумать, что навсегда запомнится осенний тихий день простой! Пастушья очередь в деревне прищёлкнула кнутом у нашего двора. Коровы разбрелись, и мы накрыли дастархан на воле. Отец сказал: — Нет воинства без пастуха! И водрузил на кочку подобье человечка в войлочной шляпе. Потом отец прибавил:— Сядь поближе. За дастарханом стихи мне прочитай молитвой, да так, чтоб Корголды вдруг ожила... — Он слушал, я читал. И душа освещала лицо его. — Я тоже мунаджат (трагические стихи) придумал о Корголды... Когда-то. Всё для тебя берёг. А вот и позабыл. Слова куда-то подевались. Наверное, пора мне уходить. Пора... Всю жизнь вложил я в этот мунаджат. Красивым получился стих! Взволнованным. А вот... забылся! Время вышло. Зажился я, сынок. — Как ты смеешь так говорить! — стал возмущаться я. — Дурная речь кому прибавит сил?! — я выразился крепко, так мне показалось, как полагается мужчине. — Невысказанный стих — непрожитая жизнь. Ты что, отец?! Ещё припомнить будет время... — Качнул он головой, вздохнул. Молить бы Бога мне... Когда навек с отцом простился, мой край родной покрылся белыми цветами. И небо, и земля сияли белизной. Какая нежность лепестков была! Невольно вырвалось: так вот как вспоминаются стихи, отец!

И нынешние земли под Казанью источают болотную сырость. Какое стадо топтало родники, да так усердно, что из копытных лунок полезла жадная осока. Нелю-бовь... Иная невеста на второй год замужества тускнеет в печали.

Однако я полегоньку-помаленьку обживался в Казани, испытывая при этом душевную нескладицу. Кому-то, быть может, покажется странным, но я переживал за всё живое, что теряло силы, в том числе — и за благоухающее болото. Оно ещё серебрилось лунной поверхностью, дышало зелёной грудью, но уже было приговорено быть засыпанным, стёртым с лица земли. Всё-таки... жаль и такое творение природы. Тем более, когда на него идут с рёвом моторов, оскалив железные зубы. Не всякое болото вредит человеку. Разве мало места под солнцем?! Мучительные раздумья одолевали меня. Я слышал «Плач болота», его глухое бормотание:

... о, Великая Ночь! Ты готова выслушать каждого, кто доверит тебе тайну. День обнажает греховность, ты — прячешь. Я хочу рассказать о себе. Это я — Болото. Я шепчу своим ивам, перепёлкам, чьи гнёзда храню на кочках, камышам и осоке, озёрцам чистейшим, — шепчу, призывая к спасенью... Мало людям дворцов из холодного камня, твёрдой земли под ногами им мало. Ненасытны они. Я должно испариться или усохнуть, уступить дорогу идущим. Это я — Болото, прощаюсь. Не поминайте лихом! Простите, тысячеголосые,

полётные, шумные птицы, я не дам вам отдыха! Где вы найдёте приют и ночлег? Тёплые гнёзда кто сохранит, поджидая? Автострады вас гонят, песчаные бури крыльях секут. Я укрывало вас, ветви ольхи качая... Мотыльки мои, огоньки болотные, кто напоит вас сладчайшим соком?.. Туман белопенный, сновиденье зари, разве стать тебе облаком... Прощайте! Не поминайте лихом! Чёрное зеркало вод тускнеет, кровь ржавеет моя.. О, Великая Ночь! Я уступаю пескам, задыхаюсь под ножами тяжёлых машин, ухожу...

Ответь мне, Великая Ночь! Что стряслось? Губы земли стали сухими.

В раннем стихотворении Равиля Файзуллина есть строка:

Кабан — печальное око Казани...

Уже в те годы меня озадачивало: вот лежит город, словно запрокинувший лицо великан, в небеса глядит единственный, как у Циклопа, глаз, подёрнутый тоскливой дымкой. Мрачный, смиренный Циклоп. Почему? Куда подевался второй глаз? Вытек, вышибли его? Возможно, интуитивно душа поэта проговорила, выразив подспудную грустную думу. Вот так-то оно...

Казанская дорога моя нет-нет да уменьшается до узкой тропы в Новом Сеитове, сворачивает на полевую обочину, точно свёртывается рукав рубашки. Желанная земля не отпускает от себя. Отбежал я от неё на порядочное расстояние, криком не достанешь, так она, немая вдали, по крови стелет шёпот. И я улавливаю его, явственно различаю в суете, в сутолоке, в спешке. Зачем я-то тебе нужен, оглядываюсь насторожённо? Ведь звук-то блуждает, томится.

— О-оо! — плачет Коргодды. — Помогите!

В этот момент я всем чужой, деревенский ошмёток.

— Бо-оолит! — вздыхает из-за плеча Казань. — Не оставляй!

Я будто посередке громадных холмов, словно горошина я на двух ладонях...

Казань — город-шлюха! — ругнулся молодой Такташ.

Впрочем, в запале идеологической драки он обрушил свой праведный гнев на распоясавшихся нэпманов, а досталось похода Казани.

Здесь я говорю себе: «Погоди! Отдышишь! Поговори хотя бы с духом Хади Такташа. У поэтов свой язык. Разогнались твои кони!»

Возникла такая пауза потому, что на днях пролетел ветерок, сметающий листья, и мы заспорили. Как укол шпаги, полоснуло: «Казань — город-шлюха!» Совпадение ударов сердца в безоглядном пространстве? Перекрёсток времён на исходе тысячелетия — дали и близи? Схлест настроений? Город вспомнил свои прошлые шалости? Такташ ездил в Бишбалту играть в рулетку...

Так или иначе, я перевёл дыхание. Я успокоился. Какая же душа обходится без противоречий? Скорее она сама — нераспутываемый клубок сомнений, преборений, вечного обновления и перерождения. Её схватка с разумом постоянна, изнурительна — и нет в ней победителя и поверженного, есть напряжение ищущего духа, пытливый пригляд, сопереживание. Взгляд, повернутый вглубь, обращён к истине, всплывающей навстречу чистыми пузырьками воздуха. Истину, поглощаемую сердечной смутой, не зачерпнёшь с поверхности.

Пойманная за хвост ящерица извивается. Ящерица исчезла, а в руке зажат невзрачный обрубок, жертвенный кусочек живого существа... Путь мысли интересен до ожога. Я думаю, размышляю. Так. Я постигаю каждой клеткой смысл бытия: наслаждаюсь. Сейчас мне кажется, что я вижу погребённое под пластами незасоренным зрением: вся агрессия, все катастрофы, личные, общественные, идут от города. Я — не урбанист, я — дитя почвы. Потому и двоится моя судьба, переламывается.

... серьёзны ли речи твои, сверстник мой? Камешки в воду бросать, другое дело. — Мы ушли от кострищ! — ты говоришь. — Суевериям «Нет!» мы сказали. Никаких

обольщений! Кто испил из Родника святых?! Скучно слушать тебя. Без Родника святых осиротел мой край. Да, я видел, как люди свергали Бога. Забросали Родник камнями, заковали в железобетон. Не к лицу эпохе героев поклоняться химерам! Старики вопрошали, стуча палками:— О, Всевышний, где же ты? Разломи громом небо! Призови сыновей к ответу... Не слышать бы мне, не слышать. Полумесяцы ослепших мечетей спрятали на чердаках, как серпы. Да, сам я держал в руках этот холодный осколок неба — полумесяц, обморозивший руку, ущербный, в зазубринах... Шутники пошутили! Родник святых застонал под железобетоном, забился, как вечный пульс земли-кормилицы. Разветвился на множество чистых ключей... Да, я знаю, есть страны с пересохшими корнями. Есть племена безымянные. Ужас последнего дня опалил ветви Древа земного. Грех посохом стукнул: высох Родник святых в душах людей. На виду всего мира Герой раскурлил трубку Чернобыля. Не напасёшься железобетона, чтоб заковать саркофаг мироздания...

Адамовы дети, сбившиеся в кучу, теряют связь с землёй, с волей, с удачью. Город — самый страшный враг простодушных детей Адама. Что же их сбilo в плотную грудь, придышало, притиснуло друг к дружке? Опасность. Так вырастали крепости, цитадели, города. Принуждала идея выживания. Город, стало быть, необходимость, отчуждающая человека от земли-огорода-поля. Вероятно, поэтому археологи самые драгоценные монеты, захоронённые свидетельства бытия, ищут на курганах вблизи ржаного поля. История пишется мечом и огнём. Не только, не только. Пером тоже. И бородой. И морщинами. И улыбкой. И любовью.

Пора улыбнуться. Я улыбаюсь нахлынувшим образам, ведь меня никто не видит, не собеседует со мной. Нет, меня одобряет, возвышает, желает мне удачи целый материк прошлого, не одна желтолистая осень деревенька Новое Сеитово, не одна заполонившая меня, нагрудившаяся гладкими отвесными камнями Казань, а материк, никуда не исчезнувший, а возвышающийся всей громадой в любое время жизни. Там можно черпать силы, отдыхать, переживать неиссякаемые приключения.

Я столкнулся с удивительным явлением. Однажды летом в сезон обмеления на точно бы вздохнувшем освобождённо от тяжести воды дне речки Казанки или её прибрежия я увидел в круглой лунке копыта поднявшиеся пучки травы, тонкие язычки пламени, зелёные гнёзда. О-оо, я восхитился обыкновенности чуда!

Сколько же вытерпело семя, дожидаясь срока, что достаточно было глотка воздуха, схода беспросветного гнёта тусклой толщи воды, чтобы сразу воспрянуть, утвердиться корнем и полыхать цветом? Что минуло — десятилетия, столетия? Для травы оказалось мигом, мгновенно сорванной с ресниц слезой.

Ты и есть — то самое, будто очнувшееся после затяжного обморока, семечко, Казань. Я шёл и иду к тебе долго от низин и равнин Нового Сеитова, чтобы тронуть вот эти ростки, соцветия, кустики прошлого, будущего, кто знает. Один Бог, один Бог. Но я верю — дойду до припрятанной, сохранившейся для меня сердцевины, приникну к ней, утолю жажду.

* * *

Говоря по совести, я чужд городским выстроенным кубикам, аркам, мостам, дамбам. Проспекты меня не просветляют. Архитектурные изыски не затрагивают моего сердца. Скажу больше, город враждебен мне, мы смотрим друг на друга исподлобья. И ещё, задирается так задирается, скажу: он испытывает меня на прочность, бьёт электрическим током по нервным окончаниям, встряхивает, как добрую бутылку с вином, и глядит на свет, как дружно взмывают со dna играющие стебли воздуха. Достаточно задуматься о судьбе творческих людей, и в груди обнаружится стеснение, во рту появится горечь...

После нелепой смерти Фаила Шафигуллина я поделился своим тягостным настроением с Фаннуром Сафиним, уже трижды вступившим в «единоборство» с автомобильными лихачами. Изрядно покалеченный, он всё-таки встал на ноги, грустно огляделся вокруг: врётся, не так-то просто нас свалить! Тут я и сказал в сердцах:

— Не принимает тебя город! Убьёт он тебя, подкараулит. Он же несётся табуном машин, а ты в затылке чешешь. Удирай поскорее в Мензелинск!

Фаннур засмеялся:

— Ты — мистик!

Прошло совсем немного времени, от силы год-два, и в квартире Фаннура случился ночной пожар: он задохнулся. Город взял верх над деревенским парнишкой, так и не принявшим взрослость как обязательность, не нажил её в чуждых для себя условиях. Глаза его смотрели, как весенние проталины.

Почему я рассказал об этом? Не потому же, что Казань оказалась злой мачехой — мстительной, коварной. Нет. Рок не является городской привилегией. Просто город надевает на тебя жёсткий панцирь, берёт в тиски, и не всякая пришлая душа способна принять правила взвинченного темпа. Жаворонку не петь в каменной клетке. Если бы постепенно вживаться, если бы потихоньку-полегоньку...

Я из тех упрямец, что пробивают лбом стены, первым из молодых поэтов приехал в Казань. Получил паспорт, выдрал, можно сказать, право на законное жительство. Примета жёсткости того времени показательна: сдашь экзамены в вуз и будешь зачислен в студенты — получишь справку и лишь после её предъявления станешь владельцем паспорта: гуляй, казанец!

Моя деревня Новое Сеитово — подлинный рай, сон наяву. Да и сейчас — душистыми охапками поляны, пригорки, овражки... По какой же тогда надобе я покинул благодатное, богом дарованное место? Не по своенравной же лихости. Ответ прост, для моего поколения он слишком очевиден: мы устали от рабства. Родители щедро заплатили за него бесслёмной долей, ранним старением, а мы — замыслили побег. Сколько бы я ни пытался — поэтически-проникновенно! — рассказать о горестной жизни, о неизбежной тоске родительского усилия сохранить в целостности очаг, оберечь корневую основу, чистоту помысла — всего выразить не смог. Слова точно избегали глухого помрачения судьбы, поэзия сторонилась перетомившейся темноты. Очень деликатная штука, эта поэзия, вымывающая из болотной трясины редкие жемчужины. Ведь и страдания обживают, как дом, а попроще — шалашик. И всё-таки, и всё-таки... Деревня свила крепкое, укрытое от буреломного ветра гнездо в моей душе из множества хрупких соломок-скорлупок неприхотливой жизни. Если разорить его, я превращусь в чахлый, неплодоносящий куст, забытый соловьями.

Мой наставник, чьи стихи я читал запоем на уроках литературы, одобрил меня, утвердил в мечте, наконец, похвалил за дерзостную тайну побега. Его безмолвная улыбка вывела меня из равновесия. Я стал ужасно хитрым.

Итак, одна дорога — в Казань!

Теперь размышляю: какой же была, как выглядела Казань в моих подростковых думах? Конечно, по-книжному, вернее — выстраивалась из впечатлений, полученных из книг. Город поэта Такташа! Подрастая, я понемногу постиг Тукая, так думалось, хотя снова и снова обнаруживались секретные роднички. Он — явление татарского откровения. Строки:

«О Казань, светозарная Казань!..» — выпевались мной в ликовании.

Вот камертон юности! Но ещё не осознавался до конца национальный восторг поэта. Такташ же, властно подчиняя себе, чаще задавал мне неразрешимые загадки. Казалось, он всегда жил в городе, был его сыном.

Значит, в дорогу!

Вёрсты до Набережных Челнов были мне известны, три лета я мозолил там спину грузчиком при шофёрах, возивших зерно на челнинский элеватор. С попутным ветерком прибыл на пристань. Как не восхититься: меня уже поджидает красавец-пароход, струйки стекают, как слюнки, с лопастных колёс. И — поплыли-поехали — захлопали плицами по Каме: шлёп-шлёп! Потом — по Волге. Дыши! Наслаждайся! Лицом — к будущему. Каждое рёбрышко чувствовало натиск дыхания.

Наивный отрок, завидев издали башню Сююмбике, я спросил наставника:

— Что это? Неужто кремль?

Но он не удивился, он привык отвечать на всякий мой неожиданный вопрос.

— Не торопись! — сказал наставник. — Ещё поймёшь, что это за кремль! Это — легенда! О ней ты узнаешь чуть позже, не торопись.

Я полюбил Казань с первого взгляда, ещё не зная, какие ураганы здесь вздыбили землю, какие вулканические страсти кипели, какая запеклась лава.

По барашкам волн я шагаю к тебе, Казань! Я открываю тебя, как подаренную книгу, с нетерпением и дрожью! Я пока и ведасть не ведаю, что башня Сююмбике — это женский плач, застывший в камне. Имеющий уши да услышит! Я услышу, Казань! Кровь из-под ногтей, я вскарабкаюсь на вершину! Не отступлюсь, не дрогну коленками! Мне ли пятиться побитой собакой. Я не блудный сын, чтобы возвращаться в Новое Сеитово хвастать драными башмаками!

Поначалу меня, как новичка, преследовали абсолютно дикие мысли: сверну за угол — и столкнусь лоб в лоб с Тукаем! Ну и ну... А этот, что пристроился под деревом на тёплых корнях, пишет и пишет — не Такташ ли? Впору захохотать...

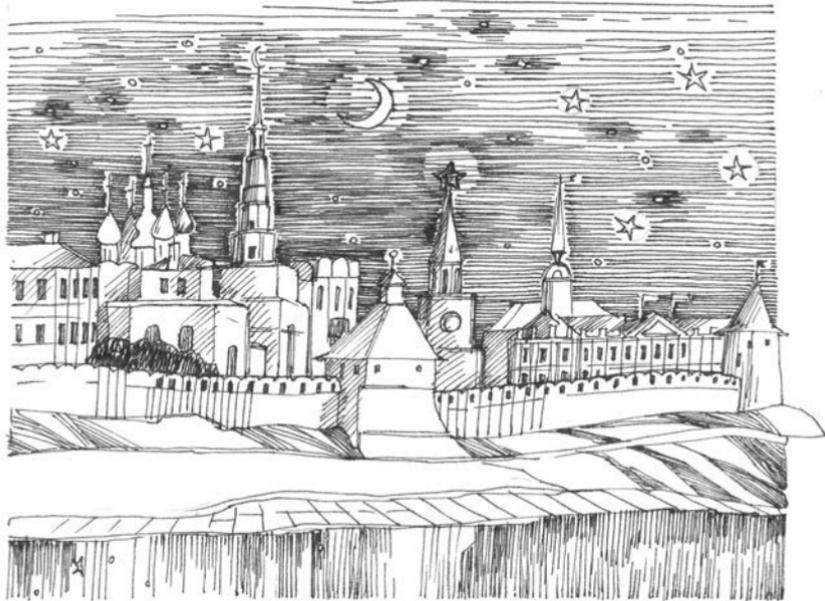
К университету я ходил, как по волнам, с горки на горку, начиная от дома Ульяновых, дальше — по Щапова. Многократно ходил, привыкая к дороге, к окружению. Наверное, и молодой Ленин так делал, он тоже был беспокойным человеком. А вот тут беспризорщина — Алексей Пешков пёк хлеб. Втайне от хозяина — сердитого Деренкова, таскал горячие булки взбунтовавшимся студентам. Прежде пекарни — чистил ботинки у дома, где родился Шаляпин. Небось не стеснялся посиживать у ног господ! Дворянский сынок — Володя Ульянов, вполне возможно такое совпадение, подходил к нему, ставил каблук на ящик и, пока будущий классик работал щёткой, обдумывал философский трактат... Э-хе-хе!

До чего непредсказуема ты, Казань! Ошеломляю!

Первое время я только и делал, что вздрагивал, оборачивался на случайный свист, шарахался от взревшей машины, опасался подворотен, поражённый новизной. Невсегда было приглядываться по-туристически, чуть отступя в сторонку от замечательных, с красивой решёткой, ворот. Я входил — и озирался, воткнув кулаки в карманы штанов. По лицу тёк не трудовой пот.

О Казань, ты, оказывается, — перекрёсток многих дорог, место копытного гула! Твоя история, как погоня, не помнит тихих, спокойных лет достойной старости. Не успела приготовить для путника укромной завалинки. Ты всё время была под копытами походных коней: из Азии — в Европу, из Европы — в Азию. И национальностей здесь, как в прокопчённом котле золотистых жиринок: знатная получилась шулла! И бледнолицый, и смуглокожий разговор ведут...

Припоминается одна мимолётная беседа с Наби ага Даули, ныне покойным. Поводом послужила моя статья-интервью в молодёжной газете с главным архитектором Казани Агишевым. Я тогда, поддавшись соблазну, пообещал горожанам баснословный подарок — метро, которое, если не ошибаюсь, должно было разветвиться подземными рельсами в 1976 году. Я, как полководец, оценил самоуверенно макет,



утвердив вожделенную мечту на песке. О чём и рассказал вдохновенно Наби ага. Под конец выпалил, просяив:

— Как бы почувствовал себя Тукай, если бы увидел Казань сегодня!
— Сел бы на камень и заплакал, — странно для меня ответил Даули, закуривая папироску. Он и бровью не двинул на моё беспрекословное восхищение.

Можно представить растерянность зазнайки. Я примолк, ужася.

Мы жили миражами. По усам текло, а в рот не попало! — это про нас, доморощенных фантазёров, чьи мозги размазывали, как жидкую кашу по тарелке, принимающих с умным видом кислицу за сладость. Самостоятельно мыслить — опасно, таков стискивающий обруч. О своей истории? Ни-ни... Ишь, чего захотел! Мысли, как положено, а чувства сдерживай! А больше мечтай, мечтай!

Запомнилось и острое словцо Ахмета Исхака в застольи:

— Казань без узды обновится! И не удержишь! В стойле у коня дрожь в ногах. Бес-толковая чалма голову не заменит.

Ступив на казанскую землю, я был простодушен и доверчив. О, несокрушимая вера в то, что есть, руки тянутся к тебе для объятий! Мир искренен, правдив до крошечной буквы и цифры, покоится чуть ли не на трёх китах.

Пройдут годы, и я прочитаю такие строки из повести Батуллы «Сююмбике»: «Когда Сююмбике и маленького хана Утямышу увели в рабство, осиротела Казань, опустела, словно дом, из которого вынесли покойника, без души, в тревоге...»

Полость прекрасной башни, точно пазуха души, полна неизбывного горя.

Да, наставник не ошибся: «Женский плач, застывший в камне!» Нет, Казань не была горестно взывающей плакальщицей — она была чудесна, светозарна.

Перебирая в памяти великие имена, я снова пропутешествовал по адресам, где снимал углы. Проказница-судьба сыграла со мной немало шуток. Я жил в соседстве с флигелем, который первым услышал голос будущего певца, новорождённого Фёдора Шаляпина. Неподалёку, на втором этаже, почти за стенкой, проживал Максим Горький, то есть — нена-

долго я тоже стал жильцом знаменитой Марусовки. До меня здесь умудрился поскучать в безденежки Сибгат Хаким, как мне открыла любознательная хозяйка. Марусовка держала свою марку, превратившись в перевалочный пункт для художников, поэтов, странника. Чего только я здесь не услышал, о, боже! Старожилы любят потолковать на согретьх завалинках двора. Одна бабуля, перекрестив рот и перейдя почему-то на полусёпот, расписала такую картину: пролетарский писатель запустил в окно тайного публичного дома пепельницей, не выдержав «адского огня страсти» наглого притона... Эх, Марусовка, Марусовка, богато одарила ты писателя! Какими типами населила книги!

Винтовой лестницей я попытался «слазать в гости» к казанскому Нечаеву — Гурию Плетнёву в мансарду, но внутрь зайти не удалось — дорогу перегородил вдребезги пьяный мужчина, охвативший руками порог...

Однажды, вернувшись из университета, я невольно подслушал разговор хозяйки с подругой. Они до полудня гоняли чай, смакуя подробности прошедшего.

— Как твой кудряш, не беспокоит?

— Не сыпь соль на рану. Через него у меня уже кровь порченая. Спит, а под наволочкой оружие держит. Прирежет, прости, господи!..

В тот же день я покинул богом проклятое место. Марусовка ещё долго осыпалась во мне сухой извёсткой и дребезжала всеми стёклами окон.

Переехал я на Озёрную улицу, но и тут, оказалось, до меня побывал живой классик — Аяз Гилязов. Везёт, говорят, нищему да сумасшедшему.

Так и ходил я кругами по чужим следам: сначала — один, потом — с семьёй.

Зато теперь я могу твёрдо сказать: знаю, каков он, житель трущобной Казани. Одно дело — глядеть на город с палубы праздничного парохода, другое — мыкать-ся по его застарелым углам. Отрицательного, ненужного опыта в жизни нет, в этом я убедился. Жизнь и бесцеремонна, но она же и деликатна до слёз...

После победы Сталин сказал маршалу Рокоссовскому:

— Ты, наверное, обижаешься на меня?

— На что мне обижаться?

— Мы тебя сажали.

— Так ведь я там общался с настоящими коммунистами.

И я скажу без сожаления: всяко приходилось — холстиной и дерюжкой покрываться, но о людях Казани я могу вспомнить только с улыбкой, с радостью встречи. Не самовлюблённый я хлыст, не самозванец, а бубенец с поля Нового Сеитова.

Да простит меня читатель, хочу я пофантазировать, перебрать, как чётки, названия улиц, которых нет. Вот какие бы я приколотил таблички в разных концах города, всё-таки походил я по нему, походил и пожил на славу. Начнём?

Улицы я бы пометил так: имени Наки ага Исанбета и Хасана ага Туфана — в Татарской слободе и в бывшей Бишбалте, в районе деревянных домов с национальным узором; хотя Нури ага Арслан и сын казахских степей, он до косточки был аристократом, ему подошла бы одна из улиц, поднимающихся от площади Свободы; именем моего кровного друга Фаила Шафигуллина я бы назвал улицу, берущую начало от театра, по западной стороне Кабан; и Баки ага Урманче был бы здесь, у озера; Сибгату ага Хакиму никакой проспект бы не подошёл, но берег, прикрытый ветвями ивы, пришёлся бы по душе... Можно бы дальше продолжить перечень, поискать соответствия. Тем более, пустых названий предостаточно.

Мои мысли по этому поводу не случайны. Я разговаривал с тенями ушедших в разных уголках, доверительно советовался. Жаль, теперь только там можно с ними побеседовать. Они унесли с собой многослойный мир, сохранив в бедствиях и честь, и достоинство. Национальная культура потеряла своих крепких стариков.

Кажется, я немного отвлёкся, отклонился в сторону, дав волю воображению. Время вернуться к сверстникам, к полосе дружб, от череполосицы все мы изрядно подустали. Радио и телевизор хищно ошупывают мозг...

Из Муслимова объявились два Люсьена де Рюбампре, два героя романа Бальзака «Утраченные иллюзии» — Фарит Гильми и я, ваш покорный слуга. Соискатели. Несомненно, гении. Если бы один из двух прислушался в свой час к сказанному, проникся глубоким светом, над землёй обнаружилось бы новое солнце. Светоч ума! Свеча негаснущего чувства! Ни больше ни меньше. Так-то, господа хорошие.

Устроив свой временный шалаш в общежитии, мы тут же крепко взялись за дело — отправились искать равных себе гениев. И нашли без промедления! На предэкзаменационном собеседовании: пастухи переступили порог аудитории. Гляжу, по-соседству сидит мальчик, так увиделось, невысокий, с выпуклым загорелым лбом. Я сразу вспотел: «Да ведь это Мударрис Аглямутдин!» Стихи его уже печатались с фотокарточкой и вступительным словом Махмута Хусаина... И сидит, сидит-то себе как-то особенно независимо: дескать, видали мы!

— Простите, вы не Мударрис Аглямутдинов?

— Нуишто?!

— Я читал в газете ваши стихи, фотокарточку разглядывал.

— Нуишто?!

На этом закончилось моё первое интервью с занозистым человеком, строптивым гением. Любопытство не оправдалось: гении очень скрытные люди, сделал я зарубку на будущее, к ним нужен неординарный подход, как к барышням.

И надо же! В дни первых экзаменов я получил корректуру своих стихов из самого солидного литературного журнала. А чуть позже — сам номер «Казан утлары», мечту моего сердца. Мударрис был в курсе. Какой ухватистый, поразился я, всё знает, как Диоген в бочке! Хлопнул он меня по плечу:

— И ты стоишь в очереди на экзамен с этими недоучками?! Я даже не заходил ещё, я знаю, что будет «преотлично». А ты сомневаешься, дрожишь, как кисель, хотя вышли свеженькими после краски твои гениальные стихи. Дай пожму руку.

Чёрт побери, я же видел, как он самоуверенно выходил после сдачи экзамена! Может, в глазах перепуталось?... И я поверил, что Мударрис не сдавал, а только репетировал подход к экзаменатору, как предусмотрительный товарищ.

— У тебя там тоже стоит «преотлично», — сказал Мударрис. И шепнул: — Пошли пить пиво! Оно совершенно без запаха, но — веселит.

И мы причастились. Такова, наверное, судьба поэтов — ходить по лезвию.

С тех пор с Мударрисом мы не расставались.

Да-а-а, но всё же я опередил события. Никак у меня не получается быть солдатски последовательным. Недаром поэты дружат с вихрями стихий, частенько их заносит в тупички или, чего хуже, вообще на край города.

На сей раз не потеряю тропу.

Итак, мы отправились с Гильми искать гениев. Заходим в закоулочную комнату на этаже аспирантов. Двое читают: один — вытянулся в рост из-под книги на койке в позе Тукая, другой — прогнул пружины до полу. В носках — Мударрис, а раздавивший кровать — Разиль Вали... Фарит от неожиданности закашлялся и произнёс по-муслимовски чудаковато:

— Здоровеньки бывайте!

И тогда впервые раздалась знаменитая реплика обладателя носков:

— Нуишто?

Другой добавил:

— Не обращай внимания!

Покойный Фарит по природе был застенчив. Благоглупости — его область. Он споткнулся о чемодан — из чемодана выпал вяленый гусь. Фарит пролепетал:

— Прилетел из наших краёв...

Так мы стали студентами величественного университета, не теряя своей гениальности. И потекла не очень-то обременительная жизнь.

Казань преподносила нам уроки, нянькалась с нами, готова к большой дороге.

Хасан Туфан благословил мою первую книгу. Сибгат Хаким нашёл в моей сумбурной речи сходство с запальчивостью Сагита Рамеева. Отзвуки, отзвуки... Непрерываемая нить времени. Сон травы на дне речки Казанки. А какие сны движутся по крови? У Арсения Тарковского есть незабываемые стихи:

*Мало взял я у земли для неба,
больше взял у неба для земли...*

Высь приманивает, поле умиротворяет. Камни города магнетизирует. Проходя километры жизни, мы постигаем путь тысячелетий — караванную, тягучую, как проливающийся мёд, тропу Времени. Поэты, словно аргмаки, будоражат весь табун. Укротитель, помедли! Кони играют на лугах, взбрасывая гривы... Слава богу, недремлющий наставник сторожит сердце. Из угнетения повседневности выскальзывают молниеносные прозрения.

Чувствую, моё перо уже готово уклониться в сторону Нового Сеитова и там дать волю безудержной удали. Но я укрощаю своеволие аргмака. О деревенских парнях и девчатах надо писать роман — о морозных россыпях буранов, о летнем дурмане лугов, о сенокосах и утреннем запахе конюшни, о дробии копыт на заре...

Мы пришли в литературу оттуда. Казань сняла с наших плеч котомки, усадила, бесхитростных, за стол, приготовила ночлег.

Чужак — бескровное слово. Пасынки жмутся в сторонке.

Долгая дорога в Казань! Поеду? Поеду! Приеду?.. Здесь пауза.

Можно прожить три жизни в Казани и не доехать до неё. Такой путник или пришелец — скорее иноходец. Нет, он не глухой и не отшибленный на обочину, он знает каждую слободу, но не почуял её сердцем, он посеял шаги в переулках, но не дождался отклика. Он запомнил кое-какие даты, но не завязал узелков. Пролистнул историю, но не разглядел в ней свою блуждающую тень. Долготерпение не пришло ему на помощь. Он так и уйдёт из мира с печатью в паспорте, но без светозарного отблеска на лбу. Потому что он не принял Казань сердечной мукой, сладостью и горечью, как обрызганный свежим дождём куст, задохнувшись от беспричинной радости.

Все сказки из вечности.

Древняя Казань помнит свою молодость.

Разве потеряется её колыбельный напев, поскрип зыбки...

Чужаку и прислониться не к чему. А красоты есть повсюду, дос-го-при-ме-чательности. Видно, действительно надо достичь дна, чтобы увидеть высоту.

Приехать в Казань, разделить её участь.

Не пришельцем, надеюсь, я стал для неё, а живой каплей, готовой упасть в глубокий колодец её памяти.

Родники не иссякают, их соединяют подземные воды.

Перевёл с татарского Рустем КУТУЙ.

Подборка стихотворений Зульфата опубликована на стр. 163

